

ИРИНА ЕМЕЛЬЯНОВА
ДИТЯ ЗИМЫ
и другие рассказы



Ирина Ивановна Емельянова

Дитя зимы. И другие рассказы

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=43154700

Дитя зимы. И другие рассказы: Прогресс-Традиция; М.; 2019

ISBN 978-5-89826-567-0

Аннотация

Эта книга-сборник рассказов-эпизодов, своего рода вехи, «узловые станции» на жизненном пути автора, от раннего детства (1945) до ключевых событий последнего времени. Многие из этих рассказов уже публиковались в периодической печати.

Это не портретная галерея, а «сцены частной жизни», складывающиеся в характерную и живую картину ушедшей эпохи. Своего рода «роман воспитания».

В книгу входят и дневниковые записи автора, размышления по поводу прочитанных книг («Всякая всячина»), а также путевые заметки-впечатления от путешествий по местам, связанным с Б.Л. Пастернаком – Берлин, Марбург, Киев.

Содержание

От автора	5
Часы	7
Сухиничи	20
Из всех искусств	36
Империя зла	49
Часть первая. Черная оспа	49
Часть вторая. Ватрушка	61
Фрэнсис Пауэрс и Белла Исааковна	70
Конец ознакомительного фрагмента.	83

Ирина Емельянова

Дитя зимы. И другие рассказы

© Емельянова И.И., 2018

© Прогресс-Традиция, 2019

* * *



Ирина Емельянова на балконе своего дома в Потаповском переулке. Фото 1963 года

От автора

Узловые станции

Эта книжка является в каком-то смысле продолжением предыдущей – «Поименное» (Прогресс-Традиция, 2017), хотя построена иначе: это не портретная галерея, не зарисовки людей, появлявшихся на жизненном пути автора в разное время, а сам этот жизненный путь, его основные этапы, узловые станции, иначе говоря «пересадки» (как знаменитая пересадка на станции Потьма Главная на Потьму Вторую и обратно, из Москвы в лагерь и назад в Москву), на которых меняется направление. В соответствии с этим принципом и рассказы-этюды – эпизоды расположены в хронологическом порядке – от послевоенных воспоминаний дошкольницы (1945) до отъезда в эмиграцию (1985).

«Пишите просто собственные записи, не гоняясь за фантазией и не называя их романом... произойдет та выгода, что вас будут читать люди не с намерением читать роман» – так писал Пушкин в последнем номере своего «Современника». Жизнь подтвердила абсолютную актуальность этих слов. Что может быть интереснее живых воспоминаний и дневников! Мне, например, не нужно никакое их «романное» окольцевание. Сама наша безумная жизнь в России XX века превратила их в роман.

«...С тобой в жизни будет все хорошо, – писал мне Б.Л. Пастернак в 1957 году. – Желая тебе, чтобы все, что ты сделаешь хорошего, далось тебе легко, без труда и препятствий».

Трудностей избежать не удалось. О «препятствиях» рассказано на страницах этой книжки. Но хотелось бы остаться верной этому пастернаковскому «почти отеческому» пожеланию – сохранить внимательное и непредвзятое отношение к людям и событиям. Что ж, назовем его «легким».

Некоторые из публикуемых здесь рассказов уже печатались («Новый журнал», «Крещатик», «Глагол», «Из Парижска», «Русская литература» и другие), кое-какие переведены на французский.

Кроме рассказов привожу обширные выдержки из своих записных книжек («Всякая всячина»), которые я веду много лет и которые, на мой взгляд, не утратили своей живости и полемичности.

В конце – для любителей путешествий – несколько отрывков из «путевых заметок». Из разных городов, где я была, выбрала три: Берлин, Марбург и Киев. В этих городах я ходила по маршруту Б.Л. Пастернака, хотелось увидеть его Берлин, его Марбург, его Киев своими глазами. «Столетье с лишним – не вчера...»

Париж, 2018

Часы

«Страна стала жертвой своего языка» – это сказано о России. «Мы наш, мы новый мир построим» – не получилось, зато весь старый переименовали. И вот вместо имения Прозоровки (усадыбы Голицына, где лучшие архитекторы по ландшафту соорудили «город-сад», а в начале XX века это сокровище купил фон Мек) появилась станция Кратово. Иван Крат (*vieille carapule*, «старая жаба», как сказали бы французы. Он, правда, был *jeune*) был большевистским комиссаром Рязанской железнодорожной ветки, скончался в 1923 году, вклад его в революцию неясен, но мраморная доска на облупленных стенах станции красовалась. Параллельно переименованию вырубали аллеи, растащили утварь из барских покоев, пруды протухли. Правда, не все. Кое-что еще оставалось от прежнего великолепия и в военные годы, когда мы поселились там вчетвером (мама, дед, я с братом, ему не было и года). Сначала жили в роскошной даче, но после смерти Митиного отца нас с этой дачи выселили в маленькую комнату при конюшне. За стеной фыркали лошади, но спать это не мешало. А бабушка в это время была в лагере, в Сухобезводном (страшное название! Как тут не подумать о силе «слова»!). Все это я знаю, конечно, лишь по рассказам, была слишком мала.

Пейзажи Подмоскovie – одни из красивейших в Европе,

я до сих пор так считаю. Особенно хороши они по этой железнодорожной ветке – сосны попеременно с березами, песчаные дорожки, солнечные поляны, полные земляники, никогда никаких луж – песок впитывает. И незабываемый запах нагретой смолы и хвои, и сосновые вершины колыхаются высоко-высоко, как паруса. Но отнюдь не дышать хвойным настоем прибыли мы в это Кратово, час на электричке от Москвы. Бежали от бомбежек осенью 1941 года. Скоро немцы были отброшены, бомбежки Москвы прекратились. Знаменитый «прорыв под Москвой». Почему бы не вернуться в свою квартиру в Потаповском, зачем тесниться в конюшне?

Несчастный характер мамы... Что хорошо в художественном образе и в поэзии, в повседневной жизни оборачивается часто мучением для других. Ее безалаберность, доверчивость, «простота»... («Простота хуже воровства» – так гласит русская житейская мудрость.) «Пока вы в Кратове, пусть Лариса Михайловна посторожит вашу квартиру, это интеллигентнейший человек, ведет курс общего фортепиано в консерватории...» «О конечно, конечно! И Лариса Михайловна со своим сыном Севочкой, и ее свекровь, и бывший муж, милости просим, как любезно с их стороны!» Одним словом, когда мы делали робкие попытки вернуться, и мама с маленьким Митей на руках, и я, держащаяся за ее подол, топтались на пороге своего дома, пятилетний Севочка наезжал на меня на трехколесном велосипеде с криком: «Это моя квартира!»

По счастью деду дали землянку при конюшне, крыша над головой у нас была. Мама жалко оправдывалась: «Здесь легче прокормиться. В Москве бы мы пропали. . .» Действительно, они с дедом по ночам выкапывали неубранную картошку на колхозном поле. Потом ее на что-то меняли. А мама стала еще и донором – в этом же госпитале сдавала кровь для раненых, за что получала «донорскую» карточку. Был и другой «приработок» – кормление противотифозных вшей своей же кровью. У нее долго на руке оставалось красное пятно, даже после войны; за этот подвиг полагалась какая-то повышенная донорская карточка. Тем не менее всего этого было недостаточно, чтобы нас прокормить, у меня был и фурункулез, и педикулез, а Митя вообще чуть не умер.



Д.И. Костко, О.В. Ивинская с дочерью Ириной. Кратово,
1943



Д.И. Костко с внучкой Ириной. Москва, 1944

Но война заканчивается, в воздухе ожидание победы, счастливый май 1945-го. Бывшие господские хоромы, в советское время – профсоюзные санатории предоставлены раненым, в них – госпитали, по парку гуляют легкораненые, в палатах – безногие, безрукие, контуженные. Там же и мастерские, где обучают новым профессиям инвалидов, «навалидов», как говорит маленький Митя, «центры реабилитации». Хорошенькие медсестры и добровольцы в белых косыночках снуют между корпусами, организуют «самодеятельность», читают слепым письма, водят тех, что на костылях, по аллеям. Кипят романы. Какой-то легкораненый поднима-

ет меня на руки: «Девочка, ты хочешь, чтобы у тебя был папа?» Разумеется, у нашей красавицы мамы сногшибательный успех. Все (кто не слеп и при руках) пишут стихи. Часто посвящают ей, да и она сама полна стихами, и в конюшне, и копая картошку, все время бормочет что-то про себя.

Тяжелораненый Николай Степанович Р. влюбляется в нее без памяти. Он в прошлом радиоинженер, под Сталинградом ему пробил пулей позвоночник, позвонки как-то скрепили, но жить он может лишь с ошейником, огромными раструбами, в таких ошейниках иногда можно встретить собак, в раструбах почти не видно головы. Он называет маму Люси (на английский манер), засыпает стихами, иногда пушкинскими: «Я сердцем жажду отдохнуть / И близ тебя, мой друг бесценный». Мы с братом (да и вскоре вернувшаяся бабушка) его боимся. Он одержим смертью. Снимается повешенным, рассылает фотографии знакомым. Снимается в гробу, платит дворникам по три рубля, чтобы стояли возле гроба и плакали... Мама набирается мужества и говорит ему, что стихи его никуда не годятся, чтобы он выбрал себе другое занятие. Он зла не держит, продолжает любить. (А через 50 лет, читая мамино дело 1949 года, я нашла в нем такие его «показания»: на злобную реплику следователя «Вы ведь собирались жениться на Ивинской!» он с достоинством отвечает: «Я был смертельно ранен под Сталинградом в 1942 году и жениться ни на ком не могу. А влюбляться никому не запрещается». Его, героя войны, инвалида, хотели привлечь

за то, что он сконструировал радиоприемник, по которому слушал «Голос Америки», а мама «присутствовала при прослушиваниях».) Их дружба продолжалась и после Кратова.

Кратовские дорожки засыпаны отцветающей сиренью. Праздничный концерт в большом зале госпиталя. Зал полон, все в бинтах, на костылях, но веселые, ведь уже победа, начнется счастливая жизнь. Маленький Митя и я с дедом сидим в первом ряду, мама из-за занавеса высовывает свое хорошенькое личико, подмигивает нам. Она – главная артистка. В черном платье, худенькая, выходит на сцену, читает стихи. Это, конечно, Симонов, «С тобой и без тебя», книга-фетиш военных лет. «Огни далекие дрожали / На том, на русском берегу». «Твой звездный плащ из старой драмы / И хлыст наездницы в руках, / И твой побег со сцены прямо / Ко мне на тонких каблуках». Красиво, зал восторженно хлопает. После перерыва – спектакль, и мы не можем поверить, что дама в шляпе, падающая в обморок, с огромным веером – мама. Это, разумеется, чеховский «Юбилей». Полный триумф, мы в темноте возвращаемся в нашу пристройку к конюшне, долго крутимся в кроватках, а дед утешает нас, что скоро все будет хорошо, и бабушка, его обожаемая «Мурочка», вернется из Сухобезводного...

Дмитрий Иванович Костко, наш дед. Он был третьим бабушкиным мужем, и не был нам кровной родней. Но он был лучше любого родного. Мы с братом его обожали. Соревно-

вались, кто придумает для него лучшее прозвище: дедан, дедастик, дедуля... Он был белорус из-под Орши, из семьи священника. Каково пришлось этой семье, легко себе представить – они все были «лишенцы», то есть не только не имели права голосовать, но и работать на государственной службе. Дед был самым удачливым: он закончил семинарию в Могилеве по «светской» профессии – учитель русской «словесности», так он всегда о себе говорил, и ему удавалось иногда поработать в школе. Но при каждой «чистке кадров» его увольняли, и он, как и вся его трудолюбивая семья, знавший немало ремесел, стал сапожничать, в московской квартире на кухне чинил и «кроил» соседям башмаки, а в Кратове стал «инструктором сапожного дела», то есть обучал «навалидов» тачать сапоги, тех, конечно, у кого были руки. Для безруких, слепых и контуженных были другие профессии. Потому-то и выделили ему приконюшенную комнату, «служебную жилплощадь».

Все бабушкины мужья были, как сказано у Пушкина в «Пиковой даме» о супруге графини, «своего рода бабушкины дворецкие». «Белорусы – тряпки», – говорила сама графиня, любившая хлесткие характеристики (за что и пострадала на шесть лет лагерей во время войны!). Да, дед был «тряпка», «подкаблучник», слишком добрый, слишком мягкий. Однако, несмотря на всю свою кротость, он был глубоким антисоветчиком. Ненавидел Сталина. (Забавная семейная легенда гласит, как еще до войны, когда он преподавал,

один раз любимые ученики пришли его навестить. Он часто болел, слабое сердце. Вместо пирожных они принесли ему большой портрет Сталина. Пришлось повесить. И 16 октября 1941 года, когда немцы подошли к Москве и она вся дымилась от сжигаемых партийных билетов, сочинений Ленина, советских удостоверений, пришел дедов звездный час: он разорвал и сжег на газовой плите в кухне ненавистный портрет «мучителя дорогого», как он называл вождя.) В кино никогда не ходил: «Агитки не смотрю». В эвакуацию ехать отказался: «Немцы тоже люди. Я деточек вынесу, никто нас не тронет». Поэтому мы и оказались в Кратове, а не в Ташкенте.

Вот он занимается со мной, второклассницей, арифметикой. «Реши задачу: в 1912 году я преподавал в гимназии в Орше. Получал 60 рублей. Хлеб стоил полкопейки килограмм. Сейчас я “инструктор сапожного дела”, получаю 600 рублей. Хлеб стоит 3 рубля килограмм. Сколько хлеба я мог купить в 12 году и сколько сейчас?» Получалась какая-то сумасшедшая разница, не верилось, но западало. Поэзию русскую обожал, шутил по-семинаристски: «Ну, почитаем Пушкинзона, Лермонтовича». Кумиром его был Некрасов. «Орина, мать солдатская», «Мороз, Красный Нос» читались почти каждый вечер. Как-то, взяв с маминой тумбочки (а у нее всюду, даже под подушкой, валялись любимые стихи) сборник Пастернака, водрузил на нос очки и погрузился в «Сестру мою жизнь». Возмущен был до крайности: «Да это просто больной какой-то! Что делают с русской литературой! Надо

с Люсей поговорить!» Вместо разговора вышел скандал, мама заявила, что с такими ретроgrадами жить под одной крышей не желает, ушла ночевать к подруге. Но когда состоялось личное знакомство нашей семьи с БЛ, дед отступил. «Прекрасный, образованный человек, – сказал он о БЛ. – Только пишет не то».

Мама поехала за бабушкой где-то в конце войны в это самое Сухобезводное и привезла ее, полуживую, в лохмотьях, без зубов (ее «сактировали»). Немного придя в себя, бабушка сразу занялась моим педикулезом и фурункулезом. Мою бедную белобрысую головку густо намазали керосином, обвязали тряпкой и, несмотря на плач, так заставили спать. Лошади фыркали за стеной, я терлась головой о штукатурку, сдирала повязку. Но вшей победили. Достали где-то рыбий жир (борьба с фурункулами) и вливали в меня по столовой ложке по утрам. Кроме того, энергичная бабушка стала возить меня в Москву в поликлинику «на кварц». Я сидела 20 минут на табуретке, не отрывая глаз от костлявой прозрачной ручки, которую заливал синий свет. Моя рука? Было чувство отчуждения от своей плоти. Мне такая рука не нравится!

Вторым бабушкиным подвигом было водворение нашей семьи в Потаповском. «Консерваторка» Лариса Михайловна не спешила сдавать позиции. Она укрепилась еще своей сестрой, которая устроила в кухне фотолабораторию – фо-

тографировала «по-черному» желающих для паспортов. Там же и проявляла, объявив себя «кооперативом». На помощь нам была призвана милиция, домоуправ (мы ведь были прописаны, а они нет!), их, наконец, выдворили, но, уезжая на своем трехколесном велосипеде, подросший Севочка бодро кричал мне: «Все равно я тебя на улице задавлю!»



«Отличницы учебы». Москва, школа № 612, 1946

Первое сентября. Я иду в первый класс. К зеленой вязаной кофточке бабушка пришивает белый воротничок, денег на коричневое форменное платье нет. Проблема с фартуком

– он обязателен. Есть два типа фартучков: дорогой шерстяной с оборочками и сатиновый без. Девочки в классе сразу разделились: обеспеченные – с оборочками, мы, большинство – в сатиновых. С портфелем проблема еще острее: они дорогие, нам совершенно не по карману. Конечно, приятно на них посмотреть – блестящие, свистящие, из «кожезаменителя» (дермантина, как тогда говорили), с острым резиновым запахом, главное – с нашитыми большими карманами для завтраков. Но нам его не купить. Однако по спокойным лицам дедушки и бабушки я понимаю, что все в порядке, портфель мне будет. И действительно, 31 августа дед с торжественным лицом вручает мне портфель. Я мрачно молчу. Он, как лоскутное одеяло, сшит из обрезков кожи, и никакого кармана! Любимый ученик деда по «сапожному делу» инвалид второй группы контуженный глухонемой Николаевский сшил мне этот портфель во время дедовых занятий. «Он же из настоящей кожи! Понюхай, как пахнет! Телячьи шкурки!» Дед профессионально обнюхивает портфель. Что делать, иду с этим портфелем в школу, где уже топчутся во дворе первоклашки. На перемене девчонки вынимают из своих резиновых карманов завтраки, я тоже вынимаю, но из «нутра», пакетик лежит рядом с букварем. Однако моральная победа все же остается за мной. Отворачиваю рукавчик кофточки – на руке у меня часы! Настоящие! Огромные для тощей лапки, тем не менее ни у кого в классе наручных часов нет! Коллега деда по госпиталю, обучающий безногих инва-

лидов часовому делу, смастерил мне эти часы из старых деталей. Милый тихий старичок Василь Васильевич, приятель деда еще по Могилеву, заходивший к нам иногда «на огонек», приготовил мне сюрприз. Пусть у других хрустящие портфели с карманами. Зато у меня – ЧАСЫ! И они ИДУТ!

Сухиничи

Для мальчика, в ночи глядящего эстампы,
Любая даль желанна и близка.
Как этот мир велик в лучах настольной лампы...

Так писал Бодлер.

Летом 1948 года мы склонялись под зеленой лампой над столом, где была разложена карта Калужской области. Планировалось путешествие в Сухиничи – полугород-полудеревня, «райцентр», где с конца тридцатых годов проживали наши родственницы, учительствовавшие в местной школе, одна полуглухая, другая стремительно теряющая зрение – тетя Надя и тетя Мила. Сейчас в Сухиничи добираются за три часа на электричке, нам же предстояла ночь в плацкартном вагоне. Митя, уже первоклассник, стриженный, с круглой рожицей на тонкой шейке, и я, десятилетняя, с восторгом смотрели на деда (дедан, дедастик, дедуля, мы его обожали), изучающего карту местности: так, река Брынь с омутами (дед был заядлый рыболов), брынские леса, переходящие в знаменитые брянские (дед был также грибник, он ведь родился в Белоруссии), две станции – главная и узловая... Дед планировал также сделать крюк в Калугу, навестить своего однопольчанина (еще по Первой мировой) полковника Михал

Михалыча Скорикова, из белого офицера быстро ставшего красным. Об этом Михал Михалыче рассказывалась легенда: он женился, вопреки воле родителей, на ортодоксальной еврейке Рахили, «неописуемой красавице», которую также прокляла ее семья. Рахиль крестилась, превратилась в Раису и сопровождала мужа, став сестрой милосердия, по всем фронтам. Крюк в Калугу требовал особого маршрута, с пересадкой. Воистину, мир был велик!



Д.И. Костко с внуком Д.А. (Митей) Виноградовым и внучкой Ириной. Москва, 1948

Митя мечтал о грибах в брынских лесах и о рыбалке с дедом. Я тоже об этом подумывала, но главное – я хотела вырваться из Москвы, из нашей квартиры, где в это лето сложилась очень тяжелая обстановка. Мама была беременна. Бабушка поджимала губы, устраивала сцены: «Третий ребенок! Двое сирот на руках... И ведь он (БЛ) никогда не бросит семью! О нас бы подумала! Могла бы прекрасно выйти замуж! Детям нужен настоящий отец!» Я тоже дулась, по ночам плакала злыми слезами. Дед был, как всегда, «соглашатель»: «Ничего, Мурочка, прокормим!» («Белорусы – тряпки», – говорила о нем бабушка.) Бедная мама плакала, уходила ночевать к подругам.

И вот – облегчение. Мы уезжаем. Пусть этот ребенок родится без нас.



Дом аптеки. Сухиничи. Улица Ленина

После смерти Мити (2004 год) не осталось почти никакого «литнаследства». Обрывки переводов, неоконченные стихи, а «основной корпус» – письма протеста: в «Московский комсомолец» (по поводу обвинения мамы в сотрудничестве с КГБ), на телевиденье (по поводу пошлой передачи «Дачники», фильма Рязанова, Караулова), в суд – по поводу изъятых у нас при обыске архива БЛ, переписка с Евгением Борисовичем (страстное и чем-то жалкое письмо Мити и высокомерный ответ последнего). Боролся ночами бессонными за маму, за ее доброе имя. И при всем этом неожиданно цельным куском выглядят 10 страниц его воспоминаний, писал

незадолго до смерти. О чем же? Об этом сухиническом путешествии! Как ни вспомнить В.В. Розанова: «Почему я люблю так детство? Я безумно люблю его, мое страдальческое детство». У Мити оно не было страдальческим, но и счастливым не назовешь. Почему-то в начальных классах его все время били, дед на кухне вразумлял: «Ты же мужчина, царь природы! Сожми вот так кулак – и в грыздело!» Он, бедный, и спал со сжатым «по-мужски» кулачком. Все это вскоре стало на свои места, он превратился в забияку, авторитет в классе, его дружки заискивали. Но в первый год – заплаканная мордочка, нежелание утром идти в школу... А тут – каникулы! Впереди беззаботное лето! Дед укладывал свои сокровища: рыболовные снасти, крючки, лески (он ссучивал их сам на коленке из непонятно откуда взявшихся волос от лошадиных хвостов), а удилица он нам смастерит на месте, ведь это брянские леса! Мы будем ловить ершей на червя, а щук на живца, на «жерлицу», а потом на берегу варить уху! Митины глазки горели восторгом. «Дед был гений. Не помню, чтобы у него чего-нибудь не получилось», – напишет он незадолго до своей смерти. Укладывал дед и сапожные колодки, дратву, кожу, воск, гвозди в коробочках из-под ландрина – для «заработка». Он, окончивший учительскую семинарию в Могилеве, «учитель словесности», педагог от бога, переквалифицировался: стал преподавать «сапожное дело» в госпитале для безногих инвалидов войны, а на дому подрабатывал. В ту пору заказчики и на военные сапоги, и на мод-

ные лодочки не переводились. Сидит он на кухне, за «верстачком», в зубах гвоздики, в руке шило, продевает дратву, молоток тук-тук-тук... Какое там преподавание! Он – сын священника, «служителя культа», чуть ли не «враг народа». А сапоги и в Сухиничах будут заказывать, заработает.



Надежда Ивинская (Симонович), вдова Владимира Ивинского. Выпускница Варшавской консерватории. Тамбов, 1913

И вот мы уезжаем. С чемоданами, сумками, котлетами, белыми батонами и котом. Накануне я, уязвленная своим социальным ничтожеством, опустила своей подруге Зое в почтовый ящик записку (телефона у нас не было): «Мы уезжаем в С...и». Пусть думает, что в Сочи, а не в какие-то Сухиничи! Ехали всю ночь на настоящем паровозе, пытящем, дымящем, с огромными буквами «И.С.» (Иосиф Сталин) впереди. В открытое окно доносился упоительный запах паровозной гари, даже искорки от топки залетали, и мы были счастливы. «Так бы ехать и ехать», – напишет Митя в своих записках. Часов в шесть утра поезд остановился на станции Сухиничи-главные. Если таковы были «главные», каковы же были «узловые»? Одноэтажное кирпичное строение, дощатая платформа, пыльные бегонии вокруг бюста Ленина. А по платформе бежала с седой косичкой хвостиком вверх глухая тетя Надя, вдова Владимира Ивинского, мамино дяди, брата пропавшего в гражданскую войну Всеволода. Владимира судьба была не легче: лесовод, преподававший в Архангельске, в 37 году арестован как вредитель и, конечно, расстрелян. Запуганные женщины (с Надей ее мать и сестра) бегут из Архангельска, ищут уголок, куда бы приткнуться, скрыться, и главное – поближе к Москве, чтобы хлопотать

за Володю. В «райцентре» Калужской области (Сухиничах) требуются учителя в среднюю школу, их берут, дают «халупу», как они называли свой домишко. Но берут в учителя только тетю Милу, Надю же, жену «врага народа», из жалости директор оформляет секретарем (идеальный почерк! И грамотность!), одновременно – помощником библиотекаря.

«Скорее, скорее! – кричит тетя Надя. – “Фаэтон” не будет долго ждать». Мы сваливаем чемоданы и сумки на телегу, садимся сами, кучер (он же школьный сторож. Сердобольный директор распорядился выслать за «москвичами» школьный транспорт) взмахивает кнутом, немолодая кобыла трогается... Едем по центральной, пыльной, с выбоинами, улице – Ленина, конечно, бывшая Соборная. Главное скульптурное сооружение – огромный бетонный чан, хранится вода на случай пожара. А домишки и вправду такие, что загорятся в любую минуту: деревянные, но по-городскому лепятся друг к другу, сзади огородики, перед серыми унылыми «фасадами» палисаднички с подсолнухами. Останавливаемся перед своей «резиденцией» – совсем врос в землю, покрыт прохудившимся толем. «Да, крыши маловато!» – говорит не теряющий юмора дед и сразу же лезет на крышу – «латать». А где же брянские леса? Где омуты с русалками?

Тетя Надя оправдывается: «Выгорели... Да и бомбили много, здесь же фронт проходил...»

(По прихоти судьбы через много лет на Потаповском происходит трагикомическая встреча. Уже совершенно глухая

тетя Надя приезжает к нам погостить. Собираемся вечером за столом, приходит и часто бывавший у нас в тот год корреспондент немецкой газеты «Ди Вельт» Гейнц Шеве, человек уже немолодой, повоевавший на восточном фронте, ставший страстным пацифистом. Услышав, что это – тетя из Сухиничей, он бледнеет. Оказывается, их часть стояла в 42 году в Сухиничах, и он их бомбил. «Война... Мне было 20 лет... Гитлер... Я не хотел. Сказали – важный железнодорожный узел». Но тетя Надя не имеет претензий: «У нас стоял немецкий офицер. Он приносил маме шоколад. А когда пришли “наши”, они почему-то выбили окно, хотя дверь была открыта и можно было просто войти. Маму выставили в сени, она скоро умерла». За столом она сто раз переспрашивает одно и то же, отвечает невпопад, раздражает, и Митя, считая это остроумным, кричит Гейнцу (да уже и выпил): «Что же ты, Гейнц, так плохо бомбил!» Мы покатываемся со смеху, но Гейнц встает и бросает вилку: «Так не шутить! Так не шутить!»)

Как мы ухитрились разместиться в одной комнатке, ума не приложу. Дед, правда, поселился в сенях, где и устроил свою сапожную мастерскую. В комнатку стоял книжный шкаф, комод, керосинка, а над столом висел вырванный из «Огонька» портрет Шопена работы Делакура. Приходившая почти каждое утро веселая почтальонша спрашивала: «А что это у вас за тетенька висит? Ваша родственница?» Писем,

как ни странно, тетушки получали очень много. Бывшие институтки (они окончили институт в Варшаве) не теряли между собой связи. Загнанные в такие же комнатухи в российских городишках, тайно подрабатывая на жизнь частными уроками французского и немецкого, они регулярно поздравляли друг друга с «октябрьскими», «первомаем», «женским днем», желали успеха в труде и личной жизни... «Тебе открытка от Тани Кайзер! От Софы Немировской давно ничего нет! Наконец-то Ляля Семашко написала!» Даже имена были какие-то «бывшие». «Какие они Софы, Ляли! – думала я (всем была недовольна). – Им по сто лет!» Но скоро я нашла себе занятие, и это лето останется в моей памяти как счастливое. Я стала страстным глотателем книг, «книгочеем», «шпагоглотателем», как говорила тетя Надя, почти ежедневно принося мне новые романы из школьной библиотеки: «Уже проглотила?» Таким же книгочеем была и сама Надя. Урвав минутку между керосинкой, мытьем пола, ведрами из колонки, она устраивалась в палисаднике и сейчас же утыкалась в книгу, только седая косичка торчала. Вкусы наши совпадали: романы Гюго, Теккерея, Бальзака, почти полного Диккенса, конечно, Элизу Ожешко (варшавская незабываемая молодость) приносила мне тетя в мой уголок. Я нашла себе уют под шиповником на огорожке, там стояла старая плетеная лежанка. Читала запоем, с утра до самого вечера, до «возвращения стад»: по улице Ленина брели с выпаса коровы и козы, мычали, блеяли, да и не видно уже бы-

ло букв, темно в глазах, и надо было идти за козьим молоком, которым считала нужным меня поить бабушка. «А ты посмотри на зеленую траву! – советовала мне тетя Надя, – зрение вернется!» Нашим любимым романом был «Домби и сын». За это лето я стала добрее – Диккенс научил меня доброте. Поль Домби, почему он умер? Я плакала. Пусть и у меня будет маленький братик, я буду его любить, защищать от бабушки, я буду как Флоренс! Пусть он родится!

Дед все же смастерил нам удилица, по вечерам мы копали червей, утром шли на «омуты», где даже удавалось наловить ершей. Обнаружилась и баня, где парились по субботам, а дед сидел с приятелями неподалеку на лавочке, поджидая подвоза пива. Его полагалось завозить раз в неделю из Калуги, так что бочку в субботу высматривали с утра. Выспрашивали у станционного буфетчика, у банщика – завезут или не завезут? И вот об этом райском уголке в конце своей бурной жизни Митя писал: «Вряд ли в Крыму или на Кавказе было интереснее провести лето, чем в континентальных Сухиничах! Увы, леса не оказалось, но была рыбалка, кино, стадион, тюрьма, горсад, кладбище. Было солнце, свобода, милые товарищи – Валька и Миша Марьины...»

Да, самым зеленым и оживленным местом в Сухиничах было кладбище. Часто хоронили, с музыкой, процессия шла по улице Ленина, мимо наших окон, вздымая клубы пыли, мы бежали за ней. Там мы гуляли, укрываясь от пыли и от жары, оно было заросшим, уютным, тем более что соседство-

вало с «горсадом» (бывшим купеческим), откуда доносилась танцевальная музыка, играл духовой оркестр, тот же, что и на похоронах. Удивительная особенность русской провинции, еще Розанов писал, что лучшим местом для прогулок там часто оказывается кладбище – он, учительствуя в городе Белом, вечерами прогуливался, как и прочие горожане, с молодой женой по кладбищу.

Надо добавить, что был еще Горсовет, Гортоп, Когиз (книжный) и странное заведение под названием «магазин». Там продавались три вида продуктов: мыло, конфеты и керосин. Но все «для жизни» покупалось на воскресных базарах – они были оживленными, съезжались из деревень, продавали с возов – поросят, кроликов, гусей, масло в капустных листьях, ряженку с пенкой... Так что мы не голодали.

В середине лета веселая почтальонша, осведомившись как обычно, что за «тетенька» на стене, принесла письмо на имя бабушки. Ее подруга из Москвы писала, что Люся (так в семье называли маму) нездорова, попала в больницу. Будто бы она поехала на «пикапчике»(?) со своей сводной сестрой Таней за город смотреть их строящийся домик, по дороге ее растрясло, она очутилась в одинцовской аптеке, откуда вызвали скорую помощь и отвезли ее в больницу. Там у нее случился выкидыш, она родила мертвую девочку. (О том же пишет и Зинаида Николаевна Пастернак в своих воспоминаниях.) Письмо читали очень громко, несколько раз, кричали

для глухой Нади, которая никак не могла понять, что же произошло, так что я всю ночь вертелась на своей раскладушке, не спала ни минуты. «Бедная Люся, бедная Люся!», – повторял огорченный дед. Бабушка тоже всплакнула, она ведь очень любила детей, вырастила даже двух «чужих», так что и этого бы, конечно, приняла. Я была ошеломлена. «Значит, у меня не будет Поля? Ну пускай девочка, была бы Полей, я все равно была бы как Флоренс!» Не нашлось места на земле для ребенка БЛ и мамы. Второй (мальчик) родился мертвым (якобы!) в лубянской тюремной больнице через два года, когда мама была арестована и измучена ночными допросами. За ним пришел БЛ на Лубянку, захватив даже одеяльце, не зная, что ребенка нет в живых, а ему отдали его книги и фотографии, изъятые у нас при обыске. Ну, это известная история. И будто бы ЗН согласилась взять его на воспитание. «Она все-таки порядочный человек!» – сказала бабушка.

Время шло, полили дожди, непроходимая лужа разлилась перед Горсоветом, тетя Надя добыла нам калоши. Я уже томилась, под шиповником стало мокро, дома темно, окошки маленькие, запойное чтение, правда, продолжалось. А Митя пропал у своих друзей Марьиных, он был счастлив, загорел, нос облупился, веселый деревенский мальчишка. Об этих Марьиных он написал в своих записках патетически, просто поэма. Оказывается, тетушки очень долго совещались, какое же общество выбрать для Мити. Сын начальника

Горсовета Володька, с нездешним крымским загаром, которого тетя Надя бесплатно «подтягивала» по русскому, был озорником, да и боялись они залетать так высоко, в сухиническую аристократию, с вечным сознанием своего изгойства, запуганные, «бывшие»... Выбрали семью «простую, но приличную». Мите иногда выпадало счастье утром выгонять корову Марьиных, он шел сзади, подстегивая ее хворостинной, дорогу корова знала сама. «Все вокруг думали: вот идет мальчик, у его семьи есть корова, есть мать, она придет на выгон в полдень с подойником, есть отец – железнодорожник в кожане, есть сеновал, где можно ночевать с братьями. Принадлежать к марьинскому дому казалось недостижимым счастьем». «Зачем я тревожу их память, зачем вызываю из глубин их детские физиономии? Наверное, от каждого из них я взял частичку их существа для себя, да и я, наверное, исчез для них не совсем; они звали меня “москвич”, в этой кличке я чувствовал и легкое презрение, и зависть, и жалость. Валька, в выгоревшей майке, тубетейка на голове, его брат Миша, худой, “не жилец”, как открыто говорили о нем в доме, где вы?»

К первому сентября вернулись в Москву. На вокзале нас встречала мама, худенькая, красивая, в модной шляпе с полями. А я была в платочке. «Ой, у меня совсем деревенская девочка!» На другой день окрепший загорелый Митя, научившийся уже бесстрашно «давать в грыздело», пошел во второй класс.

Митя прожил бурную (слишком!) жизнь, четыре года служил на Дальнем Востоке, много раз женился, изъездил Среднюю Азию и Кавказ, был в Америке и Франции, дружил с известными поэтами и артистами, «знаменитостями»... Но вот среди его «литнаследства» накарябано неоконченное стихотворение (почерк ужасный, как ни билась с ним тетя Надя!): «Если уж отрезало / И не жить мне долго, / То скончаться в трезвости / Посчитаю долгом. / Дней моих военных, / Свадеб и рождений, / Сказок сокровенных, / Снов и пробуждений, / – Даже если принято, / Не возьму с собой...»

А взял, оказывается, это сухиническое путешествие, домик на улице Ленина, Вальку и Мишку Марьиных, деда с «жерлицей» на берегу мелкой мутной Брыни...

Из всех искусств

...для нас важнейшим является кино. Это ленинское глубокомыслие украшало в годы моего отрочества все фойе кинотеатров, включая даже клубы Подмосковья, куда мы ездили на электричке в поисках «заграничных» фильмов. Кстати, фойе в те годы были просторными, с эстрадой, где перед сеансом играл оркестр, и буфетом с пивом и мороженым. Ленин был прав. В 50-е годы самой увлекательной частью жизни («важнейшей!»), особенно для подростков, было посещение кинотеатров. «Колизей», «Аврора», «Спартак»... Там мы проводили почти все свободное время, да и уроки пропускали, если, например, шел «Тарзан», а билет удалось купить только на утренний сеанс. Орлова, Серова, Целиковская, Переверзев и прочие красавцы были, разумеется, и нашими кумирами, но уже отжившими, все эти «Веселые ребята» и «Волги-Волги» не волновали, да и шли они в далеких клубах. К тому же они были слишком «нашими», по нашу сторону железного занавеса, а нас манило другое. Мы были поколением «трофейного» кино.



«Тарзан находит сына». Голливуд, 1939

«Мост Ватерлоо», «Башня смерти», «Газовый свет», «Двойная игра» – вот настоящее кино! Помню, на «Газовый свет» кто-то затащил даже Б.Л. Пастернака. Говоря со мной об этом фильме, которым я была зачарована, он обратил мое внимание не на зловещую «готику», а на совсем другое. «Вот что значит свободная страна! Ты заметила, как вольно разговаривает служанка с хозяйкой?»

Сначала (неделю) эти фильмы шли «первым экраном», например в роскошном «Колизее», потом перемещались на «вторые» – в «Аврору» и «Спартак», а потом и в подмосковные клубы. И мы следовали за ними. Иногда над кассой

появлялась зловещая надпись: «Дети до 16 лет на фильм не допускаются». Я была школьницей, но отважно надевала мамину шляпу (мама в это время была в лагере), мазала губы ее засохшей помадой и в таком виде представала перед билетершей. Пропускали.

Сидишь в переполненном зале, слизываешь эскимо на палочке, а на экране появляется многообещающее предупреждение: «Фильм взят советскими войсками в качестве трофея...» Значит, попал куда надо! И вот всплывает на экране лицо ослепительной красоты – Зара Леандр, без единой морщинки, с крупными глицериновыми слезами на щеках, с ресницами полуметровой длины всходит на эшафот. Незабываемая «Дорога на эшафот». А иногда при показе старых американских фильмов слово «трофей» исчезало. Просто меняли название, не «First love», а «Первый бал» (Дина Дурбин, кумир наших мальчишек), не «Ревущие 20-е», а «Судьба солдата в Америке», а потом, без имени режиссера, без титров, сразу начинался фильм.

Эра «Тарзана»... «Колизей» был оцеплен милицией. Пропускали по 20 человек. Но многие брали сразу по несколько билетов на разные сеансы, касса захлопывалась, билеты быстро кончались. В очереди, она опоясывала кинотеатр в несколько рядов, начиналось брожение: «По одному в одни руки!» Выходил администратор: «Будем продавать по два на ближайшие дни! Не волнуйтесь, всем достанется! Инвалиды вне очереди!» Вокруг сновали подозрительные личности,

за тройную цену предлагали билеты, большей частью фальшивые, заодно за умеренную плату обучали «крику Тарзана» и из-под полы заманивали кустарно переснятым с какой-то обложки портретом Джонни Вейсмюллера. Мы шли на эти расходы, портрет Джонни я вклеила в свой дневник. Расходилась среди поклонников и переписанная от руки поэма «Тарзан в Москве», где Тарзан рифмовался с нарзаном и был такой рефрен: «Не нужен мне панбархат, / Нейлон и крепсатен, / Хочу я быть одета / Как маленькая Джейн!» Я поэму не купила (слишком дорого просили), но прочла ее на уроке, принесла богатая соученица.

У меня, правда, перед другими фанатами было большое преимущество. В трамвае (мой любимый маршрут «А») я познакомилась с симпатичным парнишкой Колей. Он сказал, что он художник, хочет показать мне свои картины и нарисовать мой портрет. Мы отправились в его мастерскую. Она находилась в запущенном флигеле на задах «Колизея», ее предоставили Коле как художнику – оформителю афиш, которые тогда должны были обязательно украшать фасад кинотеатра, рекламируя идущий фильм. У Коли было право без билета посещать в любое время кинозал, правда, где-то на галерке. Краски давали много, холсты огромные, так что Чита получалась у него чересчур лохматая, джунгли вообще заполняли весь холст, а вот сам Тарзан маячил на заднем плане плохо прорисованным силуэтом. Дело в том, что Коля

был самоучкой, в «натурклассе» никогда не занимался, античные пропорции Джонни ему не удавались, да и вообще все его афиши напоминали изделия Остапа Бендера на агитпароходе, когда тот подрядился агитировать за внутренний заем и изобразил «Сеятеля»: «Блудливая рука Остапа...» Колю скоро уволили, портрет мой он не закончил и отправился руководить кружком латиноамериканских танцев в какое-то трамвайное депо. Так что мои бесплатные просмотры «Тарзана» закончились на серии «Тарзан находит сына».

Лирические комедии – «Сестра его дворецкого», «Петер», «Первый бал» – смотрели по одному разу и по Подмосквовью за ними не гонялись. Спокойно относились мы и к фильмам про пиратов и певцов – ни пиратские саги с Эрролом Флинном, ни «Вернись в Сорренто» (Карузо), ни «Где моя дочь?» (Джилли) не пересматривали. Мы (моя подруга Зоя и я) любили серьезное и страшное кино.

Зоя плохо училась, семья была «неблагополучная» (шесть человек в одной комнате в коммуналке), но очень любила читать, разные маркизы и герцогини были ее отдушиной. С ней мы и бегали на «заграничное» кино. Фильм «Железная маска» (не с Фербенксом и Марэ, другой, американский 30-х годов) совсем свел ее с ума. Завораживающая тема двойников, один – благородный, жертва, другой – победитель, злодей, но оба необычайно обаятельны. Зоя пропускала уроки, ездила в какой-нибудь клуб завода «Каучук», чтобы в сотый раз посмотреть на своих кумиров. Один раз в

школе даже началась паника, куда она пропала? Я убеждала классную руководительницу, что она в кино, что не надо обращаться в милицию... Она кое-как закончила 8 классов, экзамены сдавать не стала и поступила на курсы киномехаников. Так «трофейное» кино определило ее судьбу. Курсы она закончила и стала работать в кинотеатре «Центральный» (на Пушкинской площади, в снесенном ныне «доме Фамусова»), это было престижное место, в самом сердце Москвы, кинотеатр «первого экрана». Взяли ее помощником киномеханика.

Для нас началась новая жизнь. Я бегала к ней в проекторскую, смотрела, как она меняла бобины или «сидела на микшере». Иногда я спускалась в зал, конечно, в последний ряд, чтобы подключиться хотя бы к развязке. Вот-вот сейчас начнется самое главное! «Хочешь послушать, как поет эта безголосая канарейка?» (Хэмфри Богарт входит в бар.) И начинает петь Присцилла Лейн, она через три минуты будет убита, песню (или романс?), которую впервые мое поколение услышало именно в этом фильме и запомнило на всю жизнь: «Come to me my melancholy baby...» «Судьба солдата в Америке» («Ревущие двадцатые») заменил Зое «Железную маску». А моим любимым фильмом в те годы была «Ярость» Фрица Ланга. (Честно признаться, фамилии режиссеров нас не интересовали, да мы их и не могли знать, ведь титров-то не было!) Если сейчас по-фрейдистски про-

анализировать эти наши предпочтения, то понятно, что в нас говорили «семейные» комплексы: Зоя страстно мечтала любой ценой (как герой Кэгни) вырваться из своей коммуналки, а во мне восставало чувство справедливости. Как разъяренная толпа хочет линчевать ни в чем не повинного Трейси, и он не может доказать свою невиновность! У меня были арестованы бабушка, мама – за что? Где справедливость? В Америке хотя бы суд открытый (это поражало) и герой может за себя бороться...

Советские фильмы тоже шли на первом экране «Центрального». Но какое уныние они наводили! (До первых калатозовских «Журавлей» оставалось еще несколько лет.) «Заговор обреченных», «Судьба Марины», «Большая семья», «Солдат Иван Бровкин»... Либо навязшая в зубах пропаганда (коммунисты побеждают американские козни в некой восточно-европейской стране), либо послевоенное восстановление колхоза, либо соцсоревнование отца с сыном на заводе, либо «милые» неурядицы начинающего рядового... Нет, солдат Иван Бровкин не выдерживал конкуренции с солдатом Америки!

И я решила поступать во ВГИК, на сценарный факультет, чтобы вдохнуть в эту затхлость хотя бы динамику – пусть будут перестрелки, погони, роковые ошибки, но в конце – торжество справедливости! К тому же я была «гуманитарной девочкой», хорошо училась, ходила в разные литкружки, пи-

сала стихи... Почему бы не попробовать? Написала сценарий «Перекресток». В первом же кадре из мчащейся машины на шоссе выбрасывают труп. Наплыв. Огни удаляющегося автомобиля. Но девушка жива. Крупный план: она медленно разжимает руку – в руке зажата пуговица от пиджака убийцы. Наплыв. Девушка ищет убийцу, находит, но роковая ошибка, это его брат-близнец и прочее. Когда я прочитала эту белиберду своей наставнице (Инессе), она сказала: «Да тебя даже в Голливуд с такой чушью не примут! Напиши что-нибудь о том, что ты знаешь, о школе...» Я написала несколько эпизодов (так и не кончила) лирической комедии «Последний звонок». Помню, что там были даже шлягеры, время от времени герои пели.

Итак, получив аттестат зрелости, я понесла свои документы во ВГИК. К тому времени я уже кое-что прочла: «Драматургия кино» Туркина, основателя ВГИКа, «36 сюжетов» Жака Польти, книгу Юренева о кино, сценарии Чаплина, не расставалась с «Искусством кино» (брала в районной библиотеке на Чистых прудах). В здании на Ленинградском проспекте, где тогда располагался институт (быший ресторан «Яр»), шел ремонт. Ломали штукатурку, гудели дрели, стояла пыль столбом. Двери обивали войлоком, расширяли просмотровый зал, дорожки для немногих машин профессоров посыпали песком. В коридоре, среди войлочных рулонов и бочек с известкой уже толпились абитуриенты. Увидев сво-

их соперников, я поняла, что мне здесь делать нечего. Это были раскованные веселые молодые люди, все старше меня, у многих за плечами и трудовой, и журналистский опыт, они кое-что знают не только о судьбе американского солдата, но и о сегодняшней жизни в своей стране. Это был блестящий вгиковский набор 55 года, та поросль, что вывела советское затхлое кино из тупика. Достаточно сказать, что в коридоре толпились Шукшин и Тарковский, красавица Шепитько и Шпаликов, Куравлев и Софико Чаурели... А мне только-только исполнилось 17, в багаже, кроме смазливой мордашки и «36 сюжетов» Жака Польти, ничего нет. Правда, была и группка «протекционисток» – дочек известных литераторов и режиссеров (они, как и я, конкурс не прошли). Михаил Ромм набирал режиссерский курс, Габрилович – сценарный, Лебедев – киноведов и критиков. Вот к этому Лебедеву, тогда ректору ВГИКа, у меня было рекомендательное письмо от Б.Л. Пастернака, который был с ним знаком, таков был мой «багаж». Это письмо не было рекомендацией, скорее деликатной просьбой проследить, чтобы «безвестное имя ее (мое!) не затерялось среди множества соискателей и чтобы допущена она была к экзаменам. Остальное, конечно, должна довершить она сама, ее данные и познания».

К экзаменам я была допущена, документы приняли, Николай Алексеевич Лебедев, красивый вальяжный человек средних лет, эстет и тонкий ценитель кино, приветливо улыбался мне, уверял, что все будет хорошо. Вся комиссия –

и Туркин, и Лебедев, и набравший курс Габрилович – была настроена очень доброжелательно, ведь они так любили Пастернака! Это был кумир их молодости, обожаемый поэт. Они хотели пойти ему навстречу.

Но на экзаменах я провалилась. Их было три. Рецензия на фильм, этюд и собеседование (устный). Показали последний фильм Пудовкина «Возвращение Василия Бортникова».

Конечно, Всеволод Пудовкин – великий мастер, классик советского кино. Но что он мог снять в 1952 году? По роману лауреата Сталинской премии Галины Николаевой «Жатва»? (Кстати, той самой женщины «не злой и не жестокой», как она писала о себе, но которой «достало бы мужества всадить пулю в затылок предателю». Речь шла о Б.Л. Пастернаке и его преступлении – романе «Доктор Живаго». Но это все было потом.) Конечно, это не были «Кубанские казаки» – была показана разоренная деревня, пьянство, колхоз «Первомайский» лежал в руинах, одни бабы. Но вернувшийся с войны Василий поднимает колхоз, он становится передовым, колхозники начинают получать трудодни, строят МТС, протрезвевшие пьяницы перевыполняют план... Наверное, были там и блестящие актерские работы (кстати, тот же самый Лукьянов, герой «Кубанских казаков», играл роль Василия), и режиссерское мастерство, и необыкновенные «планы». Но я, маленький сноб, увидела только очередную «агитку», тоска охватила от «севооборотов», «надоев», сеялок и молоти-

лок. Меня потом упрекнули, что не оценила грандиозный апофеоз – уже вернувшийся (в полном смысле – и в деревню, и в семью) Василий любит величественным закатом над «станом животноводства», какой, мол, глубокий в этом кадре смысл! Получила я за свою рецензию тройку, низший балл. Но проходимый.

На втором экзамене (этюд) прочитали начало романа Леонида Леонова «Русский лес». (Также получивший Сталинскую премию, в то время уже Ленинскую.) От своей верной наставницы (Инессы), которая всегда была в курсе литературных новинок, я знала, что этот роман – подлый, разоблачавший скрытых вредителей, членов некоей антисоветской группы «Молодая Россия», но в то же время – первый «экологический», против вырубki лесов. Но дело было, конечно, не в моем отношении к роману. Нам прочитали начало – приезд в Москву девушки из далекой глубинки, как она теряется на огромном шумном вокзале. Но сколько комедий начиналось именно с приезда провинциалок в большой город! Все это было крайне банально – Поля (так звали девушку) не знает, что такое такси, как сесть в трамвай, теряет свои смешные котомки с курами, не с того конца ест мороженое... Мы должны были этот эпизод разбить на кадры. Не хочется вспоминать, на какие кадры «разбила» я эту прозу – там были и куры, и мороженое, и растрепанные косички... Не смешно и глупо. Но тоже получила «проходной» балл – тройку.

Устный экзамен, собеседование. Сидишь перед большим столом, на котором разложены, изображениями вниз, разные открытки. Сначала беседа: почему решили посвятить себя кино, какой любимый фильм, что собираетесь писать. Потом попросили взять со стола любую открытку и по-режиссерски описать, что же там изображено, что за «кадр». Тут мне не повезло. Беру открытку: «Допрос коммунистов» Бориса Иогансона (также лауреата Сталинской премии за эту картину). Выигрывая время, долго-долго разглядываю.

– Гм... Это, видимо, гражданская война... Белые офицеры допрашивают коммунистов. Но разве тогда были коммунисты? Ведь были большевики, комиссары.

– Это неважно. Освещение, композиция?

– Это ночь. Офицеры уже пьяны, под стулом полковника бутылки. Композиция очень удачная: белогвардейцы как бы загнаны в угол, а комиссары на переднем плане, они как бы наступают, видно, что уверены в победе... Только ведь это ночной допрос, их могут расстрелять, а лицо у мужчины как с плаката про пятилетний план, слишком веселое, гм... мне кажется, неудачно... И уж слишком зверское выражение у казачьего офицера, как карикатура. А главный белогвардеец дан со спины, это смелое решение... (еще что-то мямлю).

– Разговор между ними? Набросайте диалог.

Я молчу.

– Хорошо, идите.

На другой день я нашла себя в списке «не допущенных к дальнейшим испытаниям». Сидела в коридоре между войлочными рулонами, плакала. В те годы провалиться на экзаменах в институт считалось несмываемым позором, ты превращалась в парию, многие, провалившиеся в престижные вузы, спешно бежали в какой-нибудь «Рыбный» или «Финансовый», где всегда был недобор и документы принимали даже в августе. Но я никуда не пошла, что я понимаю в финансах! Жизнь явно не удалась, как теперь возвращаться домой? Лебедев вышел из кабинета и подошел ко мне: «Может быть, подадите документы на киноведческий? Или на актерский, у вас довольно милый типаж...» Я с достоинством отказалась. «Тогда ходите к нам на просмотры этот год, на историю кино, я вам дам пропуск, а там решайте». И я почти целый год раз в неделю ездила на Ленинградский проспект, в просмотровый зал института, где начинали с азов – фильмы Люмьеров, Гриффита, Мурнау. Сидела в уголочке, никого не зная, лишняя, пока, наконец, не поняла, что эта стезя не для меня. «Всяк сверчок знай свой шесток».

Больше уже я судьбу на поприще «важнейшего из искусств» не испытывала.

Империя зла

Часть первая. Черная оспа

Канун 1960 года. 31 декабря, когда «окна с двойным позументом ветвей в серебре галуна» стали темно-синими и зажгли маленькую, но душистую елочку, мы собрались в измалковской избушке вчетвером – БЛ, мама, Жорж Нива, в ту пору аспирант МГУ и мой жених, и я, чтобы проводить такой трудный год. Зажгли свечи и, глядя на меня, стоящую под елкой, БЛ сказал: «Ты – как невставленная свечка. Тебя забыли. Все зажгли, а тебя забыли». Были и подарки, и шампанское, и радужные планы. Ведь, казалось, гонения отшумели, можно снова жить и работать. Вот и переводы БЛ возвращаются в театры (Шиллер и Шекспир), и пьеса пишется, и договор на Словацкого прислали, и маме снова дают работу в Гослитиздате, она очень увлечена и успокоилась («Не посадят!»), и я замуж собралась («Я первый их благословил!» – сказал БЛ.), во Франции меня ждут, и бабушка в счастливом браке... Были мы веселы, двже пели, а главное – абсолютно здоровы. Мы проводили БЛ в 11 часов по заметенному снегом шоссе к нему на дачу, он быстро шагал в белых круглых валенках, рядом семенил верный Тобик, на перекрестке помахал нам варешкой...



Лаборатория ИКС. Дом на углу Большой Лубянки и Варсонофьевского переулка, где находилась тайная лаборатория НКВД по опытам над заключенными

В это же время художник Кокорекин присутствовал в Индии на сожжении брамина. Он уже купил подарков для своей жены и любовницы, обратный билет в Москву был в кармане, но какой же художник откажется от такого зрелища – сожжение брамина! Видимо, тогда же он и заразился. Вернувшись в Москву, был госпитализирован в Боткинскую больницу с диагнозом «черная оспа», где скончался. Умерли и три работника больницы, а в Москве была объявлена обя-

зательная вакцинация всех жителей. Без справки о прививке не продавали билеты на поезд, инспектора ходили по квартирам, проверяли их наличие у жильцов, у нас в институте не допускали к экзаменам без предъявления этих справок, была настоящая паника. Черной оспы в России не было, наверное, сто лет, кампания проводилась с размахом. Подключались и добровольцы. Помню, что справки нам в приемной директора выписывала очаровательная Беллочка Ахмадулина (а сами прививки делались в актовом зале), участие в деле спасения людей от страшной заразы было почетным долгом. Вакцинированы были и писатели Переделкина. Жорж тоже сделал прививку в МГУ, иначе в общежитие не пускали. Уже в январе к нам как-то на огонек зашел БЛ (мама была в Москве), и мы стали рассматривать оспенные следы на руках: у нас с Жоржем они были маленькие и аккуратные, а у БЛ – струп величиной с пятак, уже засохший. Но он смеялся и говорил, что, наверное, лучше нас прореагировал.

В ту пору мы ничего не знали о «лаборатории ИКС», о Майрановском и Судоплатове, о токсикологических исследованиях на Лубянке (якобы запрещенных с 1953 года после «дела Берии», что, однако, не соответствует истине, как показала жизнь, вернее, смерть немалого числа людей), ходили только страшные слухи о доме в Варсонофьевском переулке.

Правда, уже давно вокруг нас крутились «бесконечны безобразны» разные мелкие бесы, но слишком мелкие, чтобы всерьез их бояться. Регулярно выключался телефон. Мама

вызывала мастера, их приходило почему-то несколько, меняли розетки, что-то в коробке переключения на лестнице, через некоторое время он снова замолкал, они опять приходили (видимо, требовалось заменить пленку записи). Мы жили на последнем этаже, дверь на чердак была все годы закрыта (бродяги, пожары!), и вдруг уже несколько месяцев там странное оживление, входят – выходят, маме даже померещился странный маскарад, мужчина в женском платье. Дверь и ночью не заперта. Спрашиваем у дворника, он в ответ: «Ремонт потолочных перекрытий». Так ему, видимо, сказали. Мои близкие подруги были завсегдатаями консерватории. В перерыве к одной из них (обе были очень хорошенькие) подходит молодой человек, заводит разговор, провожает, пробует назначить свидание, она отказывается (у моих девочек был нюх на таких «поклонников»), несколько раз находит потом в своем почтовом ящике билеты на концерт и записку: «Жду на лестнице. Саша». Этот «Саша» стал у нас в разговорах синонимом оперативника: «Сашу за собой не видела?» Вызывают моих соучеников по институту в какую-то «оперативную» (без вывески) квартиру, «майор в штатском» просит их сообщать обо всем (экстраординарном) происходящем в институте, так как там «нездоровая обстановка», есть сведения о кражах магнитофонов и наркотиках. Вербовка, одним словом. Как-то поздно вечером незнакомый неприятный голос вызывает меня по телефону во двор, срочно, так как информация очень важная, не пожалеете, все-

го на пять минут. Бесперывно куря, плохо одетый парень с помятой физиономией сообщил, что он из посольства ФРГ: «Вас все равно не выпустят. Посол ФРГ предлагает вам свой самолет, за границей вы поженитесь со своим французом, вы же хотите жить за границей?» Я сказала, что подумаю, пусть еще раз позвонит. Разумеется, не позвонил, а я со смехом рассказала всем знакомым об этом «предложении». Наверное, мы слишком много смеялись, а надо было понимать, что облава уже идет всерьез.

Настоящий спектакль в нескольких актах был разыгран на измалковской даче. У нашей хозяйки, глухой Маруси, появился «дядя», о котором она по секрету рассказала маме, что он совсем не родственник, а работник милиции, что на ее половине избы поставлен аппарат для наблюдения за находящимся напротив нашего дома «шалманом», где якобы собирается «вырубовская группировка», банда. «Дяди» менялись, дежурили постоянно. Мама рассказала БЛ об этом, он собственноручно обследовал стенку избы, обнаружил отверстие, откуда действительно могли наблюдать за бандой. Через некоторое время, именно тогда, когда все мы находились в избе, к «шалману» подкатил милицейский воронок и кого-то в него запихнули. Стало быть, и вправду банда! А мы-то подозревали наши органы!

Спустя некоторое время мама ужинала в компании с известным в Москве адвокатом К. Чтобы позабавить собравшихся, рассказала с обычным своим юмором, до чего они с

БЛ в своих подозрениях дошли! «Стали бы “они” тратить на нас такие деньги! Ведь им и так известны наши взгляды!» Но адвокат выслушал все очень серьезно: «Ошибаетесь. Вы стоите таких денег». А теперь, спустя много лет, мне кажется правдоподобным и рассказ работников дачи-музея Пастернака. Уже в перестройку на могиле заменяли скамейку. В ножках скамейки нашли какую-то странную проводку. Специалисты выяснили, что разговоры на скамейке транслировались на прослушку, которая находилась на вершине сосны, одной из тех трех сосен, что «поэта корнями обступят»... С этой сосны сигналы передавались на магнитофон, находящийся в одном из писательских домов. И это было уже после смерти БЛ! Какова же была слежка при жизни! Поистине, резвились бесы, «визгом жалобным и воем надрывая сердце мне...».

Но... «Пора ставить Макбета!» – сказал Мейерхольд БЛ в 1937 году. И потомки Судоплатова, новые лубянские режиссеры стали разрабатывать более зловещий сценарий, чем «арест вырубовской шпаны в целях прикрытия прослушки». Потом, уже в тюрьме, мама писала: «И ловко задумано было, под стать сатане самому: / Его – как удобно – в могилу. / Ее – по закону – в тюрьму». В 1953 году сподвижник Берии Меркулов на допросе так объяснял необходимость для советской власти «лаборатории ИКС»: «...конечной целью наших опытов была борьба с врагами советского государства... правда, нам говорили, что все яды должны идти за кордон...» Но их

хватило и для «кордона», и для внутреннего употребления. И надолго.

Новый год не оправдал счастливых ожиданий. Уже в январе начались наши загадочные болезни. Первым заболел Жорж. Страшная температура, озноб. Мы были вдвоем на даче, я не знала, что делать. Пришел БЛ, успокоил («Это, наверное, реакция на прививку оспы»), вечером даже принес аспирин. Аспирин, разумеется, не помог, я решила везти Жоржа в Москву. Кажется, спустились с горки на шоссе на санках (он ходить не мог), и нас тут же подхватила откуда-то взявшаяся «Волга» со странным, не похожим на обычных жителей городка водителем. Он привез нас в Москву, Жорж поднялся в свою комнату общежития в МГУ, а уже оттуда его отвезли на скорой в больницу. Я ждала внизу, так как у меня не было пропуска в это святая святых студенчества. В больнице в Сокольниках он провел больше месяца. Посещать его было нельзя, так как это было инфекционное отделение (диагноз у него был «рожистое воспаление»), он передавал нам через дежурных записки. Температура долго не спадала, около него дежурили по ночам сестры, врачи смутно говорили о плохих анализах крови. Что происходило с ним за стенами этой больницы? Никто никогда не узнает. Выйдя из больницы, он был еще очень слаб и решил поехать на месяц во Францию, чтобы отдохнуть и набраться сил. (Советская виза была у него до 10 августа, стало быть, он мог по той же визе поехать и вернуться до ее окончания.) 17

апреля мы собрались на Потаповском, чтобы проводить его, еще очень слабого, в эту поездку. Усадили на диван, обложили подушками. Пришел и БЛ. Каким же контрастом выглядел он рядом с бедным Жоржем! Загорелый под мартовским солнцем, нарядный, веселый, красивый, оживленный! Говорил о нашем будущем («Я люблю твое будущее и вижу его»), о увлекавшей его работе над пьесой, о бесконечных письмах со всего света («Однажды почтальонша принесла мне целую сумку! 57 штук!»). И не только мне казался он молодым и здоровым.

За год до этого дня его посетил страстный читатель и знаток его поэзии из Донбасса В. Баевский. Он приехал, как сам пишет, чтобы «поддержать старика после нобелевской травли... постучал в дверь. На крыльце появился человек, очень похожий на Пастернака. Его младший брат или старший сын... Я не сразу понял, что это все-таки Пастернак». Это было за год. А в январе 1960 года, то есть за три месяца до смерти, его посетила Ольга Карлайль, американская журналистка, внучка Леонида Андреева: «...временами мне не верилось, что я разговариваю с семидесятилетним человеком. Он казался удивительно молодым и здоровым. Было что-то немного странное и запретное в этой молодости... в своей каракулевой шапке он был поразительно красив, выглядел, как какой-то персонаж русской сказки».

Всего за три месяца до смерти. А уже 26 апреля встревоженная мама не находила себе места, то по своему природ-

ному оптимизму успокаивая себя, то впадая в панику: «С Борей что-то происходит. Совсем серый. Отдал мне рукопись пьесы... Должен две недели полежать...» Скоротечный рак. Какой удобный, все объясняющий диагноз! Но меня до сих пор гложут страшные подозрения. Слишком много зловещих совпадений.

Жорж вернулся из Франции через месяц, 17 мая. Мы были рядом на похоронах БЛ, не оставляли маму одну. Дьявольская команда перешла в открытое наступление: не успела она вернуться с похорон, к нам явились работники КГБ и изъяли, то есть прямо из рук вырвали, рукопись пьесы «Слепая красавица». («Это в интересах вашей безопасности, спасем от рыщущих по Москве журналистов».) Чтобы немного прийти в себя, в июне я поехала на неделю к Але Эфрон в Тарусу. Когда гуляли с ней по приокским лугам, она, «пророчица», помню, сказала: «Боюсь, этим не кончится. Дело в твоей свадьбе. Твоя собака тут зарыта». А мы с Жоржем уже подали заявление в центральный городской загс, регистрация была назначена на середину июля. Но в середине июня он снова был в больнице. В Боткинской, в инфекционном отделении. «Буллезная эритема», она же пузырьчатка, тяжелое кожное заболевание: температура, головная боль, плохие анализы крови, вздутие кожи по всему телу. Лечение – адские дозы кортизона, преднизалона, капельницы. Лечащий врач (приятная дама) почему-то хорошо говорит по-французски, вызывает расположение. Ему лучше, но из больницы

не выписывают: «Не кончился срок карантина!» Приближается 10 июля, день регистрации, я приношу ему джинсы и тапочки, чтобы он на несколько часов убежал из палаты (она находится на первом этаже), окно низко от земли. В назначенный для побега час я жду его у ворот больницы в такси. Он не пришел. Подхожу к больничному окну – накрепко задраено. А в палате у него у дверей сидит здоровенный парень, который, не тратя лишних слов и не деликатничая, сказал попросту: «Попробуешь бежать, поймаю и вздую». 10 августа (срок окончания визы) Жорж улетел во Францию. Думал, ненадолго, оказалось – на много лет.

Настала и моя очередь. «Буллезная эритема», иначе – токсидермия, добралась и до меня. В больницу я ехать отказалась, и мама (через знакомых) вызвала врача из платной поликлиники. Это был веселый старичок, похожий на артиста опретты Ярона. Увидев мою вздувшуюся кожу, он всплеснул ручками: «И где вы это подцепили! Лет сто в Москве такой болезни не было!» Где? Тогда я не знала, что ему ответить. Юность доверчива, да и не может нормальное сознание вместить такое коварство: если не убить, то изуродовать (как мучительно изживаются кожные воспаления, какие они оставляют следы, кто этого не знает!), обезобразить, унижить... Кого? Это я – враг советского государства? Это для меня в Варсонофьевском переулке готовят инфекцию? В голове не укладывалось. Лечение то же: димедрол, преднизалон, компрессы с персиковым маслом (до сих пор не переносу этого

запаха), строгая диета...

Но о какой диете могла идти речь, если уже через три недели меня арестовали (я была еще в бинтах), и в лубянской камере № 82 в кормушку всовывалась миска с ячневой кашей, макаронами или рыбной баландой. Обыскивавшая меня надзирательница, серая мышка с бегающими глазками, развязывая на мне бинты (личный обыск!), ласково приговаривала: «Я аккуратненько! Ой, да у вас уже проходит совсем... Потерпите секундочку...»

Бог с ней, с мышкой. Может, она и не знала, какая бацилла живет под моими бинтами. Вельзевулы в свои планы таких не посвящают. Но вот мой следователь капитан Николай Михайлович Коньков определенно был в курсе. Ведь кроме следственного дела (я его в перестройку прочитала) существует и «оперативное», и там все слежки, все мизансцены, все прослушки, все меры, принятые по отношению к «врагам народа», должны быть описаны. Наверное, его сожгли, либо – «хранить вечно». Следователи, ведущие наше «дело», уж конечно, были с «оперативкой» ознакомлены. Так что же заставляло его, «простого русского человека» из глубинки (не из партийной элиты, в КГБ попал из армии – «обновление» послебериевских кадров, в андроповские времена поднялся до поста старшего следователя по Московской области), насмешливо и даже как-то брезгливо цедить во время допросов (виделись с ним нечасто, «дела»-то никакого в сущности на меня не было): «Что это вы все время боле-

ли, Ирина Ивановна? И болезни-то все какие-то противные, кожные, на нервной почве... Совесть, небось, была нечиста?»»

Помню, летом 1957 года БЛ попал в больницу, в санаторий Узкое. Болела нога. Санаторий был привилегированным, среди пациентов много работников ЦК, разная номенклатура. В палате он был не один, еще трое секретарей горкомов (или обкомов, не помню). Мы с мамой смеялись, каким он стал знатоком обкомовской проблематики, ведь в палате в свободное время не уйти от разговоров. Он выделял тульского секретаря: «Нет, в нем есть что-то человеческое. Когда рассказывал, как у его матери корову уводили, чуть не плакал. Но вот мой сосед... Я не выдержал и сказал ему: «У вас не язва желудка, у вас язва души»! У Николая Михайловича Конькова была даже не «язва души». Черная оспа. Вакцинации не поддается.

Часть вторая. Ватрушка

Начало 80-х. Унылое застойное болото. Из магазинов исчезают продукты. В «овощных» – только афганский изюм и финики. (Мы называли их «слезы афганского народа». Идет война в Афганистане.) Все остальное надо «доставать». Мне на работу звонит подруга, работает рядом, в Ленинской библиотеке: «Приходи через полчаса к памятнику Пушкину». Прихожу, она вручает мне сверток. Кусок сыра. Ее мать, секретарь партячейки ЖЭКа, сумела выкроить кое-что из праздничных заказов для ветеранов-пенсионеров, которые она распределяла через ЖЭК. А мне надо, у меня сегодня вечером гости...

Я работала в вокально-хоровой редакции. Сидим над своими партитурами, скоблим прописные буквы в словах «Рождество», «Господи», «Аве Мария» (увы, старая хоровая музыка ведь чаще всего духовная!), заменяем на строчные, а где можно и на другие слова – «родина», «праздник», «светлая дева»... Таков был последний приказ из комитета по печати. В колядках удачно заменили: не «Христос родился», а «Год новый родился»! (Пришлось, конечно, разлиговать, но...) На главной редакции в кабинете директора обсуждается вопрос: включать ли в ПСС Чайковского романс «Был у Христа младенца сад»? По отделам разносят новый приказ (за подписью Андрея Сахарова, ныне глава института исто-

рии, хорош перевертыш) о вынесении строгого выговора директору издательства «Мысль» по поводу выпуска книги Николая Федорова «Философия общего дела». Тираж изымается из магазинов, мы все расписываемся, что такое не повторится, ознакомлены. Еще одно распоряжение (тот же Сахаров): во всех вокальных сборниках (да будь это даже «Музыка в детском саду»!) на первой странице печатать гимн Советского Союза. Страшные старцы из общества «Знание» на политзанятиях пугают израильской военщиной, растущим потенциалом НАТО, радуют свободной Джамахирией (это Каддафи), бурным экономическим ростом на Кубе... Присутствие на этих политзанятиях обязательно.

В это время у нас в редакции появляется новая заведующая. Появилась она в результате каких-то интриг в министерстве культуры, к музыке никакого отношения не имела, до этого поста работала в Сенегале в культурном русском центре. Наверное, срок контракта закончился, надо было ее куда-то устроить по линии культуры. От разговоров о «сложной музыкальной фактуре», «эквиритмике», «двухголосии» она впадала в сон, но ни с чем не спорила, охотно подписывала любые договоры, на редсоветах помалкивала. Она была «из простых», мать чуть ли не знатная ткачиха, сама, видимо, поднялась по административной лестнице, такой «Светлый путь». Разумеется, член партии, завредакцией должен обязательно им быть. Она была толстенькая, с круглым, всегда веселым личиком, мы про себя прозвали ее Ватрушка. У

меня с ней были хорошие отношения, как-то я даже принесла ей «Крохотки» Солженицына. Она поспешно прочитала, вернула мне, сказав, что там «много верного, но лучше этого никому не показывать». Весной, после Пасхи (в этот день она нас даже угощала куличами, ее мать ходила в церковь) она с радостью с нами простилась: ей нашли место гораздо более подходящее – директором Московского экскурсионного бюро. Оно располагалось неподалеку, на Кузнецком Мосту, во дворе старого дома.

Я к ней иногда заходила – устроить харьковских родственников на интересную экскурсию. Кроме историко-революционных маршрутов были и литературные: «Пушкинская Москва», «Москва Грибоедова», «По местам Льва Толстого» (а также, но только по спецзаявкам от предприятий – «Москва Цветаевой», эти последние пользовались популярностью, заявки были, Цветаева уже становилась «национальным достоянием»).

Уже несколько лет между родственниками Б.Л. Пастернака и Литфондом велась судебная тяжба по поводу его дома в Переделкине. Дачи в поселке не были собственностью писателей, они являлись арендой, собственником был Литфонд, и после смерти члена ССП наследники не имели на них прав, дачи предоставлялись новым жильцам, – активно работающим советским классикам. Охотников на дачу БЛ было немало. Такая же история (и такие же суды) происхо-

дила и с дачей Чуковского. Родственники проигрывали во всех судах. Последнее решение Московского областного суда было категоричным: освободить площадь в самый короткий срок. Конечно, подали апелляцию, но... особой надежды не было.

Какими бы ни были мои отношения с семьей БЛ, мысль о том, что в его кабинете будет царствовать какой-нибудь Марков, вместо аскетичной полочки с книгами и почти солдатской кровати появятся финские гарнитуры, что этот Марков будет смотреть в то же окно, видеть то же поле, не давала покоя. Это было невыносимо. Единственный эффективный путь борьбы – добиться признания данной «жилплощади» музеем (что и делали наследники Чуковского, но БЛ ведь был исключен из СП, позиция была совсем слабая), выбить у Литфонда почву из-под ног. А уже ходили слухи, что Марков от дачи отказался, но согласился Айтматов, что он уже начал ломать старый паркет и стелить импортный линолеум, одним словом, медлить было нельзя. И я решила пойти к Ватрушке.

Главное – написать письмо на бланке, с круглой печатью, с красивым титлом «Министерства культуры», а там посмотрим, время работает на нас, суд испугается печати, Евтушенко поможет, он уже неоднократно взывал к «братьям-писателям» по поводу необходимости музея, даже собрал какое-то число подписей среди «либералов»... Родственники БЛ (сын и невестка) не просто обрадовались моей идее, но и всячески

торопили меня, ибо приближалось «исполнение приговора».

Новый директор Мосэкскурсбюро, наша Ватрушка, приняла меня очень сердечно, вместе с ее двумя заместительницами мы составили письмо (не помню адреса, кажется, в Минкульт) для предъявления в суд. Просьба включить новый объект в план экскурсий на будущий год – дачу Пастернака, где посетитель может ознакомиться с интерьером рабочей комнаты известного переводчика и поэта, посмотреть офорты Леонида Пастернака (академика, друга Толстого!), послушать музыку (в записи), исполнявшуюся в этом доме Рихтером, Нейгаузом, Юдиной, а также посетить кладбище, где похоронены известные писатели, и закончить день пикником на свежем воздухе. Конечно, пользуясь ее полной неосведомленностью и доверием, я обманула Ватрушку. Не сказала, что БЛ исключен из Союза писателей и не восстановлен, что роман «Доктор Живаго» не издан и проклят, что, по мнению Шолохова, он «литературный власовец»... Зная, как можно подействовать на ее девственное сознание, я принесла ей фото с первого съезда писателей, где БЛ сидит рядом с Горьким. А также сборник «Библиотеки поэта» (кто такой автор предисловия Синявский и где он, она и слыхом не слыхала) 1965 года с роскошным красным оборотом титула: **БИБЛИОТЕКА ОСНОВАНА ГОРЬКИМ.**

«Это фото надо повесить у входа в дом, – сразу решила она. – Девочки, начинайте экскурсию с Горького!» В тот же день я отдала письмо родственникам для предъявления в су-

де.

Праздник Первомая, два нерабочих дня. Наш коллектив собрался у одной из сотрудниц, которая не скрывала, что посещает церковь, почему-то на это смотрели сквозь пальцы. На столе были неслыханные по тем временам яства, все из «спецзаказов», ветчина, осетрина, свежие помидоры, наливки производства хозяйки, «свеченые» куличи. Пригласили и Ватрушку, хотя она была уже не из «наших». Пируем, вдруг телефонный звонок. Телефон в коридоре, хозяйка подходит, потом, удивленная, возвращается к столу: «Валентина Ильинична, вас. Не понимаю, как узнали, что вы здесь. Говорят, срочное дело». Это в праздничный-то день! Разыскали! Валентина Ильинична разговаривала недолго. Вернулась к столу она несколько побледневшая, аппетит у нее пропал, но до конца обеда досидела, а когда вышли на улицу, отозвала меня в сторону: «Звонили из райкома (или горкома, не помню) партии. Вызывают на проработку. Завтра. Это, мол, вы написали письмо о доме Пастернака? Рискуете партийным билетом». – «Я пойду с вами». – «Нет, но вы должны меня подготовить. Встретимся на улице в два часа».

Давно у меня не было такой страшной ночи. Что делать? Исключение из партии, это же конец и служебной карьеры, да и личной жизни, у нее же нет, кроме административных навыков, никакой профессии, не замужем, на руках старая мать... И это я ее подвела! Нашла телефон Вознесенского, мы ведь когда-то дружили. «Андрей, спасай!» Но его не ока-

залось в Москве, да и не уверена, что он ввязался бы... Мелькали безумные мысли: позвонить Поликарпову в ЦК? Но он, кажется, умер. Бобкову в КГБ? У Вадика в записной книжке был его телефон. Ведь под угрозой невинный человек, попавший как кур в ошип!

Встретились, как и договаривались, с В.А. с Валентиной Ильиничной на Рождественском бульваре. Ни она, ни я в эту ночь не спали. Но она (в отличие от меня) старалась держаться мужественно. Запоминала: «Так-так. Написал стихи о Ленине? Был в президиуме первого съезда писателей? В правлении? Шекспир – Шиллер в его переводах в МХАТе? Картины отца в Третьяковке? Переписывался с Горьким? Отказался от премии? Отказался уехать за границу?» Это ее особенно поразило: «А предлагали?» «Евтушенко хлопочет? Нет, этого не надо, “они” его не любят. Со мной не ходите, ждите меня здесь же, на этом месте». Ушла, захватив с собой все тот же том «Библиотеки поэта» и две афиши: «Король Лир» в театре Моссовета и «Мария Стюарт» во МХАТе с именем переводчика. Я провела на бульваре около трех часов. Не без пользы. Сначала сбегала на рынок на Цветном, купила букет ландышей – что бы нас ни ждало, цветы будут ей в радость. Поглядывая на роковую скамеечку, отстояла в «Продуктах» на углу Трубной очередь за яйцами и творожными сырками, удачно, на мне не закончились! Там же купила и какого-то молдавского «Солнцедара», в случае благополучного исхода – выпьем, пусть и на лавочке!

Когда она, усталая, но спокойная, присела ко мне на скамейку, я поняла, что пронесло. «Я им все сказала. Выговор. С занесением, или без, горком решит. Представьте, они понятия не имели, что серия **ОСНОВАНА ГОРЬКИМ!** Пришлось книгу показать. А знаете, Ирочка... – она подбирала слова. – Когда у нас по телевизору показывают фильмы про войну... про допросы в гестапо... вот это были такие же лица».

Разумеется, несчастное письмо не прозвучало в суде. Осенью 1984 года судебные исполнители приехали на дачу на грузовике. Решение суда вступало в силу. Картины родственники увезли в Москву, мебель на какой-то склад. Хуже всего обстояло дело с роялем – при погрузке его грохнули на землю, «на травку», как сказал сын. А это был тот рояль, о котором мы писали в «проекте», что на нем играли Рихтер, Нейгауз, Юдина, Волконский... И сам поэт «клавишей стаю кормил с руки...» Начался затяжной советский ремонт. Но в воздухе ощущалось уже дуновение перемен, ремонт все тянулся, Айтматов отказался вселиться, планы Литфонда менялись: одно время решили сделать на этой даче общий музей писателей – жителей Переделкина. Жаль, что план не осуществился: эффектно выглядели бы, например, экспозиции таких разделов: «расстрелянные писатели»; «писатели-предатели»; «уцелевшие». Интересно, какая была бы представительней?

А в 1987 году Б.Л. Пастернака посмертно (и единогласно!)

восстановили в Союзе советских писателей. И в год его столетия дом-музей был торжественно открыт для посетителей. А рояль отреставрировали в мастерской Большого театра. Не знаю только, сняли ли с бедной моей Ватрушки выговор?

Фрэнсис Пауэрс и Белла Исааковна

Первого мая 1960 года где-то над Свердловском знаменитой ракетой «земля – воздух» был сбит американский шпионский самолет У-2, его пилот Фрэнсис Пауэрс катапультировался, был задержан местными жителями и препровожден на Лубянку. (Злые языки, правда, говорили, что ракета до У-2 не дотянула, ее протаранил советский истребитель, летчик погиб. Возможно.) А 19 августа в Колонном зале в Москве состоялся процесс над Пауэрсом. На фасаде Колонного зала красовались зловещие буквы: «Суд на американском летчиком-шпионом», проезжавшие мимо в троллейбусах пассажиры пугливо ежились. «Ой, совсем как в 37-м, в том же зале», – прошептала какая-то пожилая женщина. Суд (прокурором был Руденко) приговорил шпиона к десяти годам, из которых первые три он должен был отсидеть в «крытке» (закрытой тюрьме). Болтали, что в камере на Лубянке у Пауэрса мягкая кровать, а обед ему приносят из генеральской столовой. Может быть.

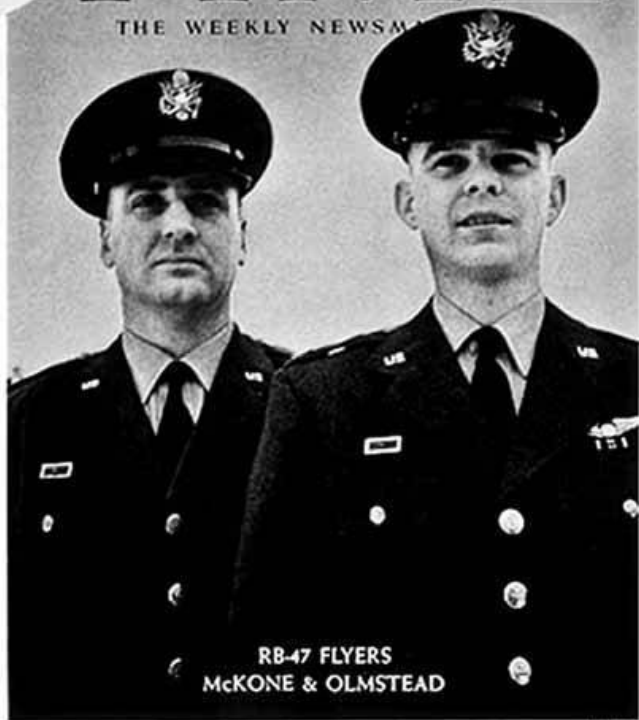
TWENTY FIVE CENTS

FEBRUARY 3, 1961

RETURN OF THE AIRMEN
Gambit in the Cold War

TIME

THE WEEKLY NEWSMAGAZINE



RB-47 FLYERS
MCKONE & OLMSTEAD

\$7.00 A YEAR

VOL. LXXVII NO. 6

Герои года. Джон Маккоун и Фримен Олмстед. Обложка

Но все эти полеты, шпионы, процессы нас тогда занимали очень мало. Дело в том, что 16 августа была арестована наша мамочка Ольга Всеволодовна Ивинская, и в нашей квартире с утра до поздней ночи копались следователи, прокуроры, понятые, описывая «незаконно нажитое» имущество – холодильник «Саратов», телевизор «Луч», кофты, платки, чашки, ну и книги, рукописи... Нам было не до Пауэрса.

Все-таки времена были либеральные, и маме полагался адвокат. Вместе с Асей Рапопорт, у которой, благодаря авторитету ее отца, в свое время знаменитого юриста-защитника, сохранились связи в адвокатуре, я пришла к председателю московской коллегии Василию Александровичу Самсонову. Роскошный кабинет в центре Москвы, сам ВА, красивый, доброжелательный, удобные кресла, все это ошарашило меня после обысков и бессонных ночей.

– Конечно, я возьмусь за ваше дело, – сказал ВА. – Но вы напрасно волнуетесь. Ведь состава преступления нет – не вы перевозили деньги, не вы их меняли. И распоряжения отданы Пастернаком, не вами. Ограничатся административным взысканием, ну, может быть, штрафом... Ведь даже шпиону Пауэрсу дали всего 10 лет! Сравните преступления! Скоро увидите свою мамочку, да и во Францию к жениху уедете... Однако каковы французы! – он одобрительно, по-светски, взглянул на меня. – Всегда увозят из России лучшие

ценности!

– Но как видите, Василий Александрович, – тут же подала реплику находчивая Ася, – им не всегда это удается!

Вот такой милый светский разговор. Но как же ошибся председатель коллегии! Ему на «нашем» процессе пришлось защищать именно эти неуезенные «ценности». Потому что через три недели арестовали и меня. А маму защищал В.А. Косачевский, один из «допущенных» членов коллегии, с которым она шапочно была знакома и на воле.

А первого июля этого же года, когда Пауэрса водили (с прищелкиваниями, так странно щелкали пальцами надзиратели) по лубянским коридорам на допросы, в районе Кольского полуострова был сбит еще один американский самолет. СССР утверждал, что он пересек воздушную границу, США – что летел над нейтральной территорией. Из шести членов экипажа спаслись двое: лейтенанты ВВС США Джон Маккоун и Фримен Олмстед. Вот они-то и оказались моими соседями на 8-м этаже лубянской тюрьмы.

Переход из «вольной» следственной части Лубянки в тюремную описан многими: вот недавно прочитала об этом у Шульгина, мало что с тех пор изменилось. Стоишь еще по «сторону свободы», в своем пальтишке, с модной сумочкой, перед тобой зловещие ворота с окошечком. Голос Харона: имя, «инициалы полностью», фамилия... ворота открываются, надо расписаться, что ты уже «человек тюрьмы». Дают

лист большого формата, прикрытый латунной пластиной с прорезью только для твоей фамилии. Чтобы не видела, кто еще сидит. Мой номер 82 (номер камеры), но за какие-то секунды мне удалось слегка сдвинуть пластину – хотелось узнать, в какой камере мама, да может, и Пауэрс тут же? Удалось: камера мамы 86, значит, на том же этаже. Но кто между нами? Прочсть не успела, ведь были секунды.

Какие чувства я испытала, перешагнув роковой порог? Их было три. Первое – облегчение. Уже ничего от меня не зависит. Не надо бегать по адвокатам, ездить в Лефортово с передачами, метаться от одного советчика к другому, утром ждать прихода «бригады», расписываться в протоколах... И когда с меня сняли «секулярное» пальтишко, облачили в тюремное платьице, освободили от шпилек, от лодочек на каблуках, я, помню, просто вспорхнула по тюремной лестнице в свою камеру № 82. Второе, конечно, страх. Ведь чудовищно раздутый великан, к которому меня привели в «лабораторию» для дактилоскопии, он, наверное, пытал врачей, Мейерхольда? Лаборатория в подвале, жуткие железные крюки в потолке. Толстыми лапищами он ловко, не выворачивая, брал с моих пальцев отпечатки, а потом стал оттопыривать мне ухо, чтоб ясней вышло на фото. Или в «боксе»: «Вас сейчас осмотрит доктор!» Знаем мы этих докторов. Бескровное существо с синими губами разматывало на мне бинты (я была больна, заразила проклятая биологическая лаборатория КГБ): «Кальций пропишем». «Присядьте три раза». «У гинеколога давно

были? Венерические болезни?» Потом я узнала (Вадик рассказал), что заключенные прозвали ее Ильза Кох. Душ в подвале, в железной клетке, в том самом подвале, где... «У вас здесь стены плачут!» – как-то сказала я потупившемуся следователю (нового послебериевского призыва). Да и ведущий мое «дело» капитан Коньков, подходивший к моему столику с линейкой в руках и как-то ее то сжимавший, то разжимавший, пугал меня... Но третьим чувством было любопытство. Оно, пожалуй, было главным. Вот и я узнаю, что тут творится, кто такие нынешние обитатели страшной Лубянки!

В одиночной камере слух чрезвычайно обостряется. Зрение же, наоборот, пропадает. Дневного света ведь нет, день и ночь горит в потолке зарешеченная 25-свечевая лампочка. Я попросила заменить. Пришел «старшой», как его называли, высокий худой старик, наверняка до пенсии дорабатывал (а в 40–50-х был, небось, в полной силе!). «Мы вам заменим. Но сами пожалеете». Он оказался прав – спать при 40-свечевой лампочке стало совсем невозможно. Вызывали на допросы редко. Развлечений было немного: книги, хотя глаза болели, раздача еды, прогулки, раз в неделю передача из дома. Часов не было, поэтому жили по «подъем!», «отбой!» Сразу после отбоя морщинистый старик, гремя по коридору сапогами, входил в мою камеру, осторожно неся в руках плоску с жидкостью. «Вам положено. Хлористый кальций». Я, морщась, выпивала. Он смотрел на меня сочувственно: «Знаю, что горечь ужасная. Но ведь для вашей пользы». «Ах

ты гадина! – думала я. – Жалеет бедную девочку, что она горькое пьет. Какой добрый! А десять лет назад, небось, руки выламывал на допросах!» Трогательная история произошла с мухой. Завелась большая черная муха. От тоски я стала ее прикармливать, наливала на столик воды, она пила, чистила крылышки, все-таки какая-то компания. Но вечером она крутилась около ламповой решетки и беспрерывно жужжала. Я встала на стул и стала ее ловить полотенцем. Щелкнул глазок, по коридору затопали сапоги, началась настоящая паника. «Дежурный, в 82-м муха!» – кричала по телефону «надзорка», и в камеру ворвалась целая команда дежурных, стали гоняться за мухой, которая, проказница, им никак не давалась. Наконец, взгромоздившись на стул, старик старшей раздавил ее ручищами. «Теперь спите спокойно!» – ласково сказал он мне.

Конечно, я не была ни Морозовым в Шлиссельбурге, ни Кропоткиным, но по литературе о революционерах знала, что в камерах перестукиваются. А слух ведь очень обострился: так, гуляющие за окном голуби казались мне рычащими львами, стук раздаточных мисок в коридоре – артиллерийской атакой... И я пристроилась к трубе парового отопления, чтобы услышать, что происходит в соседней камере. А вдруг там Пауэрс? Из-за стенки доносилось монотонное бормотание. Кто-то явно молился. Я стала ложкой стучать по батарее, делая паузы, чтобы понял, что это не просто шум, а сигналы. Но ответа не последовало, хотя я почти

каждый вечер после отбоя начинала свой «перестук». Потом разобрала, что молятся за стенкой не по-русски, по-английски. (Как узнала потом, там сидел Джон Маккоун, отнюдь не Пауэрс.) То, что соседями моими были летчики-американцы, подтвердилось довольно скоро. На допросах мой следователь Коньков вначале каждый раз любезно осведомлялся, как я себя чувствую, что читаю. «Гоголя, Пушкина...» «Это правильно. А вот американцы... – и он захихикал, думая рассмешить и меня, – Библию попросили! Грешки замаливают!»

Получасовые одиночные прогулки происходили на крыше внутренней Лубянки, в маленьких отсеках, на которые была поделена крыша. Сквозь цемент пробивалась даже трава. Небо было близко, городской шум глухими волнами доносился до пленников, часто моросил дождь, ведь был сентябрь... Охранял эти крохотные дворики, разделенные невысокой бетонной оградой, один вертухай на вышке, вертелся то в ту, то в другую сторону. Смотрю, он наклоняется к кому-то из прогуливающихся и начинает давать урок русского языка: показывает на свой нос, шапку, небо. «Нос», «шапка» – повторяет кто-то из-за ограды. Ну что ж, решила я, раз не получилось с перестукиванием, надо начать переписку, как не поддержать собрата! Во время допроса, подписывая страницы протокола, я спрятала в рукав шариковую ручку. Коньков не обратил внимания. А в бумагу иногда за-

ворачивали колбасу в передачах. И хотя она была промасленная, записку я на ней написала. По-английски, в школе учила: «How are you? My name is Ira. I am in room 82. What is your name? I wait your answer». Завернула в эту записку абрикос, мне много чего передавали, и перебросила послание через ограду, когда вертухай отвернулся. Но ответа я не дождалась. И Джон Маккоун, и Фримен Олмстед остались для меня невидимками.

В феврале 1961 года их освободили. То ли не хотели суда, на котором бы выяснилось, что территория была действительно нейтральной, то ли они «искренне раскаялись», то ли Хрущев сделал «жест доброй воли»... И в тот же день они вернулись в США. Через год они написали книгу, в которой описывали ужасные условия заключения, угрозы следователей «держат их в тюрьме всю жизнь», камеру, «параши»... Но ни слова о своей соседке. Отправились в свою Америку, а мы с мамой – в противоположном направлении, в Сибирь.

Итак, контакт с соседями не получился. Что оставалось? Когда от чтения начинали болеть глаза, вышагивала по камере, считала шаги, вспоминала стихи (ах, как это выручало!). Но дней через десять после суда все тот же худой старик объявил: «Собирайтесь с вещами! Поедете в Лефортово. Нашли вам подругу».

Лефортовская камера поразила своим комфортом. Высокие потолки (царская застройка!), через окошко даже со-

чится дневной свет, есть туалет, а не параша, свой чайник. На койке сидела испуганная женщина, полная, оплывшая от слез, немолодая. Звали ее Белла Исааковна. Она мало походила на шпионку или злостную валютчицу. Болтливая, слезливая, все время что-то откусывая, она поведала мне свою историю. Она была закройщицей в спецателье КГБ, в котором из заграничных материй шили модные костюмы для высших партийных чинов (даже для членов Политбюро!), а также для их жен. Вместе с ней по делу проходил и директор этого ателье, и главный бухгалтер. Дело их составляло 42 тома. (У нас с мамой было всего 4!) Почему же таким сугубо бытовым уголовным делом занимался высший орган советской разведки? Поскольку мне пришлось писать от ее имени бесконечные жалобы прокурору (она была полуграмотна), я скоро разобралась, почему она попала на Лубянку. Огромный многотысячный штат комитета нуждался в пище. Механизм не мог простаивать, челюсти не имели права лязгать вхолостую, а шпионов и вредителей-то не было! Как же оправдывать зарплату, получать повышения по службе? Да, и директор, и бухгалтер, и Белла Исааковна не были ангелами, были они просто мелкими мошенниками. БИ из дорогих тканей, шедших на костюмы советской номенклатуры, выкраивала обрезки, из которых потом кроила галстуки, в таком количестве, что сумела при благословении директора открыть при ателье галстучный цех. Галстуки, конечно, продавались за отдельную плату. Они, эти галстуки, сослужили

ей неплохую службу – купила дачку в Кратове (по приговору суда она была конфискована). Но при всем при том – можно ли считать это особо опасным государственным преступлением?? Может, она при этом зауживала костюмы на начальственные животы и задницы?

– Пиши, деточка, пиши, – наставляла меня Белла Исааковна, которая родилась в Радоме, в местечке, и от своего акцента так и не избавилась. – Ни один из следователей, а особенно старший следователь Сыщиков (скажи, ну разве хорошего человека так назовут?), ничего не понимают в галстучном производстве. Обрезки, оставшиеся после кроя, годятся только в утилизацию, эти отходы можно было использовать только... и так далее. Жалобы в прокуратуру сводились к просьбе назначить переследствие с «компетентной» следственной группой, то есть переквалифицировать дело в уголовное, каким оно и было. Но на все «наши» жалобы приходили отказы.

О своем местечковом детстве она рассказывала неохотно, помнила только праздники – Хануку и Суккот, по-еврейски знала только начало молитв. Тем не менее под Новый год мы вместе с ней помолились еврейскому богу, съели ее любимый шоколадный торт. Она была завалена вкусными передачами от семьи, все время переключивала поближе к окну разные салаты и колбаски (холодильника ведь не было), не переставая что-то жевала. И очень заботилась о своем больном желудке. Она была слишком запугана, в ней не было той

теплоты и сердечности, что так обаятельны в характерах восточно-европейского еврейства. Тревоги о семье, о конфискованной даче перемежались жалобами на «подельников» – мол, во всем виновата бухгалтерша, она ее и заложила, а директор – жертва своей любви к этой бухгалтерше... Представляю, сколько наговорила она на эту даму на допросах.

Верховный суд СССР оставил приговор в силе. Сколько же отмерила советская власть Белле Исааковне за ее «левые» галстуки? 15 лет лагерей! Директору тоже 15, а бухгалтеру – 10. Как Пауэрсу. Ах, Белла Исааковна! Не в том ателье вы работали!

На меня она сначала смотрела с жалостью. «А говорили, миллионы у вас... пальтишко-то у тебя некудышное. Были бы ножницы, я бы тебе перекроила! А у мамы-то хоть есть норковая шуба? И этого не купили!»

Наш приговор тоже был оставлен в силе, и мы отправились по этапам. С очередным примером социалистической законности я встретила в боксе свердловской пересылки. Мы с мамой присели на скамейку у стены, а по крохотной камере, ни на минуту не останавливаясь, из угла в угол ходила высокая худая баба в какой-то кацавейке и низко повязанном платке. Она не говорила ни слова. Примерно через час мама робко спросила: «У вас, наверное, большой срок?» Неожиданно баба ответила: «Четыре года». И продолжала свое хождение. Через полчаса спросила уже я: «А за что?» –

«Да мужа топором рубанула». Мама: «Наверное, плохо жили?» – «Да нет, хорошо». Бабу скоро забрали на этап. «Да, Ирка, – задумчиво сказала мама. – Надо было и мне кого-нибудь топором рубануть. Четыре года бы дали. А то восемь».

С Беллой Исааковной мне суждено было встретиться еще раз, когда в начале мая 1961 года нас ошибочно завезли в бытовую зону в Мордовии. Только что в космос взлетел великий Гагарин, и все тюрьмы и лагеря ходили ходуном в предвкушении амнистии. Это начало мая помнится как необыкновенно жаркое, даже в поле выводили в шесть утра, а в 12 выводили опять в бараки на «сиесту». Белла Исааковна, еще более отекая, в каком-то пестром халате, сидела на крыльце инвалидного барака и обмахивалась самодельным веером. Ее признали инвалидом, на работу не выводили. Она мне очень обрадовалась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.